И. Л. САВКИНА

Савкина Ирина Леонардовна
доктор философии (PhD)
университетский лектор (yliopistonlehtori),
Отделение русского языка, культуры и переводоведения,
Тамперский университет (Тампере, Финляндия)
333014, Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö,
Tampere, Finland
Тел.: +358442548988
E-mail: irina.savkina@staff.uta.fi

«Мои простые записки»: модели самоидентификации в дневнике Нины Лашиной

Аннотация. Материалом исследования является изданный в 2011 г. дневник Нины Сергеевны Лашиной (1906–1990), который можно назвать «дневником повседневности», или «дневником обыкновенной женщины». Анализируя этот текст, автор статьи исходит из представления о дневниковом повествовании как месте, где осуществляется постоянный процесс самоидентификации. Здесь, однако, существуют лейтмотивные, ключевые для автора дневника идентификационные модели и биографические схемы, внутри которых человек описывает и репрезентирует себя в автонарративе. Ключевыми для дневника Лашиной являются понятие обыкновенной жизни и тема женской повседневности, а одним из важнейших легитимирующих метанарративов — история материнского самопожертвования.
Сознательная маргинализация собственного «я» через понятие обыкновенности интерпретируется в статье как одна из описанных Мишелем де Серто тактик «ускользания от власти», которые переопределяют ее институциональные усилия. Одновременно дневник Лашиной демонстрирует ее зависимость от доминантных представлений о роли женщины — жертвенной матери и ответственной жены, контролирующей жизнь мужа и семьи. Эти матриархальные практики изображаются автором дневника как неизбежные, необходимые для выживания. В то же время идея героического и агиографическая модель биографического нарратива используются в анализируемом тексте не для описания гражданской доблести или религиозного духовного подвига, а для изображения обыкновенного женского существования в непрерывных усилиях по обузданию хаоса, энтропии повседневной, бытовой жизни.

Ключевые слова: дневник, женское письмо, дневниковый нарратив, идентичность, обыкновенность, человек, история повседневности, гендерные отношения, советский субъект

© И. Л. САВКИНА

«Голоса из хора»: дневники «незамечательных людей»

Вопрос о том, кто имеет право на автобиографию и другие формы публичной саморепрезентации, который в былые времена так смущал бравшихся за перо, уходит в вечность вместе с этим самым «вечным пером». Во времена, когда «наш бог — блог», ответ на этот вопрос очевиден: таким правом и возможностью наделен каждый. Но если вопрос о праве на автодокументирование решен, то вопрос о смысле чтения и исследования эгодокументов «незамечательных людей» в ситуации тотальной «дневниковизации», наоборот, обостряется.

Что может исследователь вычитать из дневника обыкновенного человека? Что такое обыкновенность, возможно ли ее определить? Каким образом обычные люди принимают участие «в изобретении истории», и каким образом история общества вписана в их язык и тело» (см.: [Козлова 1996; 2005: 28])? Насколько сильно влияют на процесс и модус само(о)писания легитимирующие метанарративы, прецедентные тексты и доминирующие дискурсы? Показывает ли дневник, написанный обыкновенным человеком, его адаптацию к давлению доминантного властного дискурса? Можем ли обнаружить в тексте нарративные практики противостояния — игнорирования, уклонения, сопротивления и т. п., которые можно считать выражением или, точнее, реализацией тех тактик повседневности (в терминах де Серто [Серто де: 2005: 103–194]), которые вызывают отклонения в функционировании власти?

На подобные вопросы стремилась ответить, например, социолог Наталья Козлова [Козлова 1996; 2005], пытавшаяся исследовать «голоса из хора», сделать видимыми остающиеся в зоне «слепого пятна» фоновые практики [Волков 1997].

В статье я хочу присоединиться к этой исследовательской традиции и сфокусировать внимание только на одном тексте, который, как и любой другой, не является образцово-репрезентативным. Скорее он представляет собой интересный казус, рассматривая который, мы можем обсудить некоторые общие вопросы, связанные с особенностями дневникового нарратива «незамечательных людей», и увидеть персональную неповторимость, «замечательность» именно этого выбранного для анализа текста. Речь идет об изданном в 2011 г. усилиями дочери и внучки дневнике Нины Сергеевны Лашиной (1906–1990) (в девичестве Покровской, в первом замужестве Мальцевой, во втором замужестве Покровской), который назван публикаторами «Дневником русской женщины». С не меньшим основанием текст можно было бы назвать дневником о б ы к н о в е н н о й женщины.

Записки Лашиной охватывают период с 1929 по 1967 г. За эти годы автор Дневника оканчивает юридический факультет университета в Ташкенте, служит на различных юридических и экономических должностях в учреждениях и на предприятиях Самарканда, Москвы, Тулы, Магнитогорска, Днепродзержинска. Во время войны волею судеб она оказывается сотрудником детского интерната в Рязанской области и в д. Большое Рождество Пермского края. В 1949 г. уходит со службы, чтобы заняться литературным трудом. После неудачи с публикацией романа «Прямые пути» работает библиотекарем Московского парткабинета, а с 1952 г. до выхода на пенсию — заведующей отделом проверки и позже отдела писем журнала «Крокодил».

В Дневнике подробно описаны работа в советских конторах, юридическая практика, впечатления от многочисленных переездов и командировок, жизнь советской журналистской и околописательской среды. Немало страниц посвящено рассказу об исторических событиях, которые так или иначе затронули жизнь автора: индустриализации, репрессиях 1930-х годов, войне, послевоенной разрухе и голоде, разоблачении Берии и культа личности Сталина. Но гораздо большее место в Дневнике занимает описание быта, повседневной жизни семьи и перипетий личной судьбы: три замужества, рождение и смерть детей[1], появление внуков.

Трудно сказать, что более важно и первостепенно для автора Дневника — история или бытовая повседневность, интимное или объективное. Разноуровневые дискурсы сплетаются в Дневнике как и в жизни. В статье я попытаюсь показать, что ключевыми для автора Дневника являются понятие обыкновенной жизни и тема женской повседневности[2], а одним из важнейших легитимирующих метанарративов — история материнского самопожертвования.

Дневник Н. С. Лашиной: особая модель самоидентификации

Понятия *обыкновенности* и *обыкновенного человека* трудноопределимы при всей своей кажущейся очевидности. Их можно соотнести с излюбленным советским оборотом *простой советский человек*, который который начиная с конца 1980-х годов был подвергнут скрупулезному анализу Юрием Левадой и социологами его школы. Главными чертами такого человека были признаны «массовидность, деиндивидуализированность, противопоставленность всему элитарному, своеобразному, доступность для контроля, примитивность уровня запросов» [Левада 1993: 8]. Левада подчеркивает, что более точным определением здесь будет не «простота», а «упрощенность», которая выражалась в послушности, довольстве малым, подконтрольности и лояльности, основанных на страхе [Левада 2001: 10–12]. В таком (советском) контексте обыкновенному / простому человеку противостоит «непростой» (несоветский?) человек — не зашоренный, активный, ответственный за собственный выбор.

Но есть и другие линии интерпретации этого понятия. Может быть, обычный человек — это типичный, «средний», тот, кто обладает «волей к норме» и не годится в герои серии «Жизнь замечательных людей»? Или это тот, кого мы называем «маленьким человеком», «лузером», «маргиналом», кто является не субъектом, а объектом власти, доминируемым, а не доминирующим, и кому противостоят люди, обладающие властью, распоряжающиеся властными ресурсами, «выигравшие», удачливые?

[1] Всего у Лашиной было пять собственных и один усыновленный ребенок, двое детей умерли в раннем детстве, один сын трагически погиб в 33 года.

[2] Обзор различных исследований и интерпретаций повседневности, в том числе в российском контексте, см., например, в [Ransel 2015: 17–34]. О женской повседневности как понятии и предмете изучения см.: [Белова 2013: 25–67]. В этой статье повседневность понимается как «совокупность привычных, рутинных, повторяющихся форм и стереотипов жизнедеятельности человека, воспроизводимых в основном механически, вне рефлексии, и протекающих в стандартных, общеизвестных ситуациях» [Королев 2013]. О повседневности советского (сталинского) времени см.: [Фитцпатрик 2008; Лебина 2015].

Все приведенные трактовки, так или иначе соотносимые с дефинициями *обыкновенный человек*, *обыкновенная женщина*, на первый взгляд, малоприменимы к Нине Лашиной. Это женщина образованная, активная, с писательскими амбициями, способная к анализу, самостоятельному мышлению, рефлексии. Ее Дневник хорошо написан — она обладает даром слова и чувством стиля. Это обстоятельство, конечно, еще больше проблематизирует концепцию обыкновенности и провоцирует вопрос о том, может ли обыкновенный человек обладать индивидуальным стилем, собственным голосом или через него, «им» говорят доминантные дискурсы?

Автор Дневника — дочь профессора права Сергея Петровича Покровского (1880–1939), а по материнской линии внучка доктора права, заслуженного профессора Российской империи, основателя Демидовского лицея в Ярославле Владимира Георгиевича Щеглова (1954–1927)[3]. Такая родословная, как и упомянутая образованность, казалось бы, настойчиво подталкивают читателя и исследователя к тому, чтобы отнести автора Дневника к когорте, по выражению Ирины Паперно, «любимцев истории — русских интеллигентов» [Паперно 2004: 104], многие из которых написали дневниковые и автобиографические тексты о своем советском опыте. Однако в записках Лашиной мы находим немного следов того «осмысления жизни в терминах катастрофического историзма» [Там же: 110], которое, как показала Ирина Паперно, было свойственно автобиографическим проектам интеллигентов советского периода. Трудно интерпретировать дневники Лашиной и в том ключе, как это делает Йохен Хелльбек, когда, анализируя дневник Зинаиды Денисьевской — представительницы провинциальной интеллигенции 1910-х годов, он показывает, как автор дневника через поведенческие стратегии и тактики самоописания рационализирует и «присваивает» коммунистическую идеологию, делая ее частью самостроения и одновременно участвуя в процессе «строительства» и функционирования идеологии ([Хелльбек 2012]; более подробно см.: [Hellbeck 2009: 115–164]).

Нина Лашина, так же как Руфь Зернова, Лидия Либединская, Людмила Алексеева и другие герои исследования Ирины Паперно [Паперно 2004; Paperno 2009], принадлежала к «образованной», «культурной», «интеллигентной» среде, но ее Дневник написан с иной позиции, чем тексты названных авторов. Подобно З. Денисьевской, она жила и писала внутри советского контекста; более того, в 1945 г., сделав сознательный и добровольный выбор, вступила в коммунистическую партию. Однако интерпретировать ее многостраничные дневниковые записи как нарратив о взаимоотношениях человека и Истории или о преобразовании себя в субъекта с ясно значимыми биографическими характеристиками советского человека, как мне кажется, было бы насилием над текстом.

Модели самоидентификации и структурирующие нарративное «я» биографические образцы, а также легитимирующие нарративы в Дневнике Нины Лашиной отличны от таковых у героев работ Ирины Паперно и Йохена Хелльбека.

[3] Более подробно детство и семейный круг Н. С. Лашиной описаны в ее воспоминаниях, написанных в 1952 г. [Покровская 2013].

«Я же — человек обыкновенный»

Дневниковое повествование, как и любой другой рассказ о собственной жизни, является местом, где осуществляется никогда не завершающийся процесс самоидентификации. В процессе повествования автор фиксирует, называет свою принадлежность к определенной общности и одновременно обсуждает ее, переоценивает ранее сформированные идентичности в длящемся и противоречивом процессе нарративной самоидентификации [Bruner 2004; Chamberlain, Thompson 1998]. Однако при всех тенденциях к обсуждению и переоценке все равно существуют какие-то ключевые или лейтмотивные идентификационные модели и биографические схемы, внутри которых человек описывает и репрезентирует себя в автонарративе.

Лашина сама на протяжении всего Дневника довольно последовательно позиционирует себя как обыкновенного, рядового, частного человека:

> 21.04.1942. Может быть, были и другие люди, чувствующие героический подъем ‹…› Я же человек обыкновенный и вокруг себя вижу людей таких же простых и обыкновенных, которым свойственны все человеческие слабости и чувства [Лашина 2011 (1): 28][4].

> 4.03.1955. Я же должна признать, что я самый средний человек [2: 308].

Конечно, переживая такие «большие» исторические события, как Великая Отечественная война или разоблачение культа личности Сталина, автор Дневника осознает их историческую значимость и свидетельствует — фиксирует, восхищается, критикует, анализирует, но при этом очень трезво оценивает границы собственных возможностей:

> 7.06.1945. Моя попытка в этом направлении была бы подобна детскому лепету. Ведь я так мало знаю и понимаю. Да и не к чему. История будет написана умелыми руками специалистов [2: 7].

Если Лашина в своем Дневнике и пишет историю, то это история с маленькой буквы, изображенная снизу, изнутри, представленная через описание «повседневности дней» [1: 342], рутинных дел и реакций, составляющих суть фоновых практик поведения, переживания и восприятия/воссоздания реальности. Важно подчеркнуть, что такой модус взгляда и письма интерпретируется ею как сознательный выбор:

> 26.04.1940. Почему я об этом пишу? Потому что это и есть наша жизнь. Если вести дневник честно, то нельзя описывать только события чрезвычайные. Обычная, повседневная жизнь наша ведь занимает 90% дней и лет. И мне думается, что когда я умру, и дети, и внуки мои прочтут мои простые записки, они многое поймут глубже и будут благодарны мне [1: 179].

[4] Далее все цитаты по этому изданию приводятся с указанием в квадратных скобках номера тома и страниц.

Повседневность, которую описывает в своем Дневнике Лашина, имеет ясно маркированные социальное и гендерное измерения: это женская повседневность и повседневность слабых, тех, кто внизу, внутри потока жизни. В акте письма автор Дневника последовательно отождествляет себя с обычными, «маленькими» людьми, жертвами власти; она их агент, их голос, им она сопереживает и сочувствует. При этом идеологическая принадлежность этих обыкновенных людей для автора второстепенна: равную жалость у нее вызывают предприниматели-узбеки, «антисоветчики», простые герои войны, немецкие обыватели — жертвы войны, рабочие люди и «безродные космополиты»:

> 15.02.1930. Работа в ОКРФО[5] наполняет меня смятением ‹…›. Доверчивые и темные люди (самаркандские узбеки — мелкие предприниматели. — *И. С.*), они не думали о бумажках ‹…› И целые вереницы ответчиков ‹…› Такие беспомощные и растерянные люди, большей частью совсем не понимающие, что происходит, и почему у них отнимают дом, сад, одеяла, казаны, халаты, почему их сажают в тюрьму, берут под конвой [1: 35–36].

> 20.09.1940. [Лашина участвовала в качестве народного заседателя в судебном процессе, где трех человек обвиняли в агитации против власти, и всем дали 10 лет тюрьмы плюс 5 лет высылки.] Мне стало жутко. Вправе ли мы судить людей за то, в чем виноваты все, и виноваты ли люди в том, что осуждают такую тяжелую жизнь. Ведь человек прежде всего хочет есть, хочет накормить своих детей, и только потом он носитель идей [1: 190].

> 27.11.1942. Конечно, командование, приказы, всякая стратегия и все такое ‹…› Но ведь ни в одном приказе не может быть написано: «Тебе, Ваня, закрыть грудью дзот, тебе, Коля, на горящем самолете кинуться на немецкие цистерны ‹…› А вам, Саша и Степа, драться с немцами на кулаках, сбросить их с крыши и умереть от пуль!» ‹…› Генералы наши умные люди, честь им и хвала! Но что были бы их приказы, не будь такого народа, таких «обыкновенных», ничем не примечательных людей. Вижу я их перед собой всех, как живых [1: 265].

> 21.08.1945. [Муж присылает с фронта несколько ящиков трофеев.] Два-три дня я ходила ошеломленная. Различные чувства боролись во мне. Царапали по сердцу некоторые мелочи, вроде тех, что в кармане пиджака я обнаружила раздавленные очки в золотой оправе и детские перчатки. Жалость к маленькому, униженному и оскорбленному человеку забралась в мое сердце, ведь не все же в Германии фашисты и злодеи [2: 21].

> 27.12.1947. В общежитиях грязно, нехорошо. Внимания к человеку мало ‹…› в цехах нет душевых, раздевалок. Рабочие постоянно нахо-

[5] Окружной финансовый отдел. — *Прим. ред.*

> дятся в своих спецовках, от сала, копоти и грязи похожих на рыжую кожу [2: 117].
>
> 2.04.1953. [Разгар кампании по борьбе с «космополитизмом».] Ну и пусть даже виноват и большой виной виноват. Так что? Добивать, что ли? [Собирается навестить изгнанного и подвергнутого остракизму коллегу.] Ни о каких политических, редакционных делах, тем более о предъявленных ему обвинениях я говорить с ним не буду. Я просто пойду к Ефиму Мироновичу Весенину, страдающему, больному старику. Вот и все! [2: 228].

Обыкновенные люди, жертвы и объект манипуляций власти для автора Дневника — это *мы*, а те, кто «откормлен на славу, вымыт не наспех, а тщательно и со смыслом» [2: 290] — это *они*. Именно так Лашина последовательно позиционирует себя в акте письма, при том что в реальных ситуациях, о которых идет речь в приведенных цитатах, она как раз действует от лица тех, кто имеет власть: она начисляет налоги, судит, проверяет общежития как «представитель министерства», разбирает жалобы как зав. отделом писем «Крокодила». Возможно, в жизни она ведет себя иногда как власть имеющий, о чем изредка проговаривается и в Дневнике, например, при описании разговора с одним из тех, на кого жалуются читатели журнала «Крокодил»:

> 12.10.1953. Остапенко сидел на диване весь красный, а я говорила и ходила перед ним по ковру. И говорили мы как друзья. Его взгляд сопровождал мои движения [2: 265].

Описанная сцена — когда один сидит, весь красный, и снизу следит взглядом за расхаживающей перед ним по ковру начальницей — опровергает определение разговора как дружеского. В Дневнике упоминается, что в 1940–1950-е годы Лашина прибегает к выступлениям на партсобраниях и письмам в ЦК как средству борьбы за справедливость, т. е. в своих поведенческих практиках пользуется властью и использует власть. Но в дневниковом автонарративе она последовательно на стороне жертв власти.

Отношения нарративного «я» и других обыкновенных людей с властью строятся в Дневнике как сюжет непонимания. «Не знаю, не понимаю» — таким рефреном на протяжении всего текста Дневника сопровождаются описания и комментарии действий власти.

> 15.02.1930. Работа в ОКРФО наполняет меня смятением. Я не понимаю того, что делается, не могу разобраться во всем, что на меня налетело, не знаю, какой позиции держаться [1: 35–36].
>
> 20.02.1937. Умер Орджоникидзе. Недавно прошелестели слухи, что застрелился Ломинадзе. Не знаю. В газетах ничего нет. Коммунисты молчат. Спросить не у кого [1: 138].
>
> 15.04.1937. И снова мне хочется сравнить всех нас со слепыми котятами. Мы, беспартийные, ничего не знаем. Коммунисты, может

> быть, что-то знают, но молчат ‹…› Совсем не верить тоже трудно [1: 139].
>
> 25.05.1937. Ничего не понимаю. Я не одна в смятении. Лидия Павловна вчера сидела у нас до часу ночи ‹…›. И она не понимает. И Костя не понимает. ‹…› Что происходит? [1: 142].
>
> 31.07.1942. Из Москвы писем нет никому. Сидим в своем глухом Рождестве, как слепые котята [1: 261].
>
> 18.12.1950. [Двоюродная сестра Ольга рассказывает, как ее принуждают к доносительству и предательству.] И вот прошло уже два дня, а все хожу под впечатлением этого ужаса и сама не знаю, что делать, как быть Ольге, как помочь ей. Только я ничего не понимаю, что делается на земле [2: 149].
>
> 4.04.1953. Кто и как ответит за все, как это распутается, ничего неясно. Голое сообщение, и все тут! Ничего я не понимаю [2: 231].

Два момента в этой позиции обыкновенного человека здесь ясно маркированы. Во-первых, отчуждение от власти, которая всегда изображается как нечто непостижное уму, она никогда не часть *нас*, это *они*, действующие в каких-то своих, неясных для людей интересах. Влиять на нее или участвовать в ее выборах непосредственно невозможно. Второе — это функция информации как властного ресурса, как способа разделения на доминирующих и доминируемых («слепых котят»). Изолирование от информации, конечно, и является основой для манипулятивных пропагандистских стратегий. Об этом писал социолог Ю. А. Левада, отмечая, что изолированность от информации порождает у «простого советского человека» боязнь информации, «нежелание ее иметь, неумение ее понимать, более того, готовность воспринимать любое новое знание с помощью “старых”, традиционных стереотипов» [Левада 2001: 8]. Однако Дневник Лашиной демонстрирует не только и даже не столько подчинение обыкновенного человека манипуляциям власти, сколько тактики ускользания от нее.

Ресурсы, которыми пользуется в этой ситуации обыкновенный человек, — это собственные каналы информации (слухи), проявляемая автором Дневника эмпатия, солидарность и нарративная[6] идентификация с жертвами власти. Последнее, наверное, можно рассматривать как одну из тех тактик повседневности (в терминах де Серто), которые вызывают отклонения в функционировании власти.

В случае Лашиной мы видим попытку сделать такую позицию, отрефлексированную в акте письма, публичной, вынести ее за рамки дневникового дис-

[6] Речь не идет, конечно, о том, что в своем Дневнике Лашина на стороне жертв, а в реальных практиках жизни на стороне власти. Из ее дневников узнаем массу примеров, когда Лашина сама была жертвой и оказывала реальную, ощутимую помощь «слабым», особенно во время своей работы в «Крокодиле». Речь идет о том, что нарративная «местоположенность» автора Дневника гораздо более последовательна, чем ее реальное жизненное поведение, что вполне объяснимо.

курса. Как уже упоминалось, в 1949 г. она уходит со службы для того, чтобы посвятить себя литературному труду, пишет несколько романов и повестей и предпринимает попытки их издания. Как можно понять из Дневника, это повествования о перипетиях частной жизни людей, написанные на автобиографическом материале. Они не были опубликованы, так как большая часть издательских и журнальных рецензий на рукописи была отрицательной.

Из пристрастного пересказа и комментариев в Дневнике мы можем судить о существе претензий рецензентов. Главная из них состояла в том, что тексты Лашиной страдают, как тогда говорилось, «мелкотемьем», слишком прозаически изображают советскую жизнь и советских людей. Рецензенты ждали и требовали от текстов агиографий «замечательных советских людей», героических мужчин и «новых женщин», написанных в соответствии с соцреалистическим каноном [Кларк 2002], в то время как автор стремилась изобразить реальную жизнь обыкновенных людей[7]:

> 29.11.1950. Консультант «Нового мира» заканчивает рецензию такими словами: «Произведение печатать нельзя. Автору не удалось создать роман, отвечающий высоким требованиям, которые партия и советский народ предъявляют к произведениям литературы» ‹…› Выходит, что нет у нас таких людей, как [герои романа]. Да они не только есть, их много. Они обыкновенные люди. ‹…› «Прямые пути» — сама жизнь. Только ведь жизнь не проходит в непрерывных триумфах и победах, она идет в обычных делах среди будничного и черного труда. И люди далеко не все герои [2: 145].

> 12.09.1954. По Горбунову выходит, что советский человек живет для общества, решительно отметая на задний план все личное. Он может быть только сильным, умным, трезво рассуждающим, ошибки ему не свойственны, он чужд им по своей природе. А отсюда ему не знакомы и не должны быть знакомы страдания, тоска. Серенького, будничного в нем ничего нет. А в «Прямых путях» жизнь простых обыкновенных людей, ошибающихся, страдающих. В ней много простых будней нашей жизни, черновой ее стороны, трудностей, забот, сомнений, маленьких, простых радостей [2: 289].

Уже упоминавшийся американский историк Йохен Хелльбек, исследуя дневники сталинского времени, пишет, что «почти вся логика основных революционных нарративов преобразования (преобразования себя и социального пространства), коллективизации (коллективизации индивидуальных производителей и самого себя) и очищения (политические чистки и акты личного усовершенствования) производились и воспроизводились самими советскими гражданами, которые неустанно рационализировали непроницаемые политические программы и таким образом являлись идеологической силой, действующей наравне с лидерами партии и государства» [Хелльбек 2010].

[7] Я оставляю в стороне вопрос о художественном качестве текстов, который невозможно обсуждать, не прочитав их. Но основная часть претензий рецензентов, как следует из их изложения в Дневнике, связана с идеологическими, а не эстетическими недостатками.

Случай Лашиной демонстрирует иные сознательные и бессознательные практики отношения с идеологическими метанарративами. И в сталинское время, и позже она отказывается рационализировать непроницаемые политические программы, фиксируя свое непонимание, и предпочитает размещать себя на полях, за пределами владений власти. И в стратегиях дневникового письма, и в своих художественных текстах Лашина отвергает легитимирующий нарратив официального дискурса, она не рассматривает воспроизводящую этот нарратив схему соцреалистического романа как значимую для себя и своих героев, не описывает их (и себя) как исторических субъектов в процессе становления. Маргинализуя собственное «я» через понятие обыкновенности и изображая своих персонажей как частных людей, она воплощает в своем письме одну из тех описанных де Серто тактик «ускользания от власти», которые «переопределяют ее институциональные усилия» [Козлова 2005: 175].

Еще раз хочу подчеркнуть, что все вышесказанное не означает, что дневниковый нарратив Лашиной свободен от принуждений господствующего идеологического дискурса — это, конечно, не так. Но выбранная автором Дневника позиция — на периферии, «на полях» позволяет ей смотреть «косым (косящим) взглядом»[8] — не только через линзы официальной идеологии, но и со стороны, из маргиналии. Этот «сбитый фокус» парадоксальным образом делает взгляд зорче и позволяет сохранять способность к рефлексии, иногда открыто деконструируя формы дискурсивного принуждения, как в записи от 2 апреля 1956 г.:

> …без клички кулаков и мироедов они оказались просто русскими крестьянами с их женами, детьми, стариками — крестьянами, по чьему-то произволу лишенными избы, коровы, всего имущества и выгнанными с позорными кличками в вековечную жестокую ссылку [2: 322].

«Наши дети! Это наша жизнь и наша жертва»

Термин *обыкновенный человек*, который использовался при описании ключевой позиции нарративного «я» Дневника Нины Лашиной, на самом деле не совсем точен и нуждается в корректировке. Позиция автора, конечно, как уже отмечалось, изменчива, нестабильна, но главное — она не является нейтральной в национальном, возрастном и гендерном аспектах. Повседневность, на описании которой сосредоточен дневник, — это женская повседневность, легитимирующие биографические паттерны гендерно маркированы, письмо во многих местах вполне поддается анализу с помощью разработанной в феминистской критике категории «женского языка». Упомянутый выше «косой взгляд», по мысли немецкого феминистского критика Зигрид Вайгель, отражает особенность женской творческой «оптики».

Интересно отметить, что и те претензии, которые предъявляет критика романам Лашиной, почти полностью совпадают с упреками женской прозе — повестям и романам Веры Пановой начала 1950-х годов или появившимся не-

[8] Der schielende Blick — термин немецкой феминистской исследовательницы Зигрид Вайгель [Weigel 1988a].

сколько позже произведениям И. Грековой, Ирины Велембовской и Натальи Баранской (см.: [Skomp 2015]), в центре которых — изображение катастрофического напряжения и конфликта между идеалом советской семьи и «новой женщины» (активной работницы и ответственной матери) и реальным положением дел.

Названная проблема — ключевая и для дневников Лашиной. Последней безусловно близка мысль о семье нового, непатриархатного типа (см.: [Градскова 1999; Gradskova 2007]), основанной на дружбе и равноправии, равном участии супругов в домашних делах и воспитании детей. Об этом она много пишет еще в 1920-е годы во времена первого брака, когда живет в Ташкенте. Жизнь «несчастных узбекских женщин» «за глухими стенами дувалов», где они «варят шурпу и плов, стирают, моют и вышивают в ожидании супруга — повелителя, властителя их жизни и судеб» (12.04.1930) [1: 39], вызывает у нее ужас; она хотела бы, чтобы муж, Семен, «любил [ее] и детей, как друг, как помощник, чтоб семья для него была радостью, потребностью» (25.02.1929) [1: 9].

Но в реальности все обстоит иначе: муж гуляет, пьет, играет в карты, ощущает себя свободным от многих семейных обязанностей, бьет жену и агрессивен по отношению к детям. Все это доставляет ей страдание и вызывает протест, о чем она пишет в Дневнике. Собственно, потребность артикулировать свои «бунтарские чувства» мотивирует в этот период сам акт ведения дневника, потому что поведенческая стратегия автора до поры до времени противоположна: прощение, терпение и стремление сохранить семью, построенную в общем как патриархатный садомазохистский союз.

Второй брак, начавшийся как идеальный, соединяющий страстную любовь и дружбу, взаимопомощь, в конце концов тоже кончается изменой, враждой, насилием и разрывом. В третьем браке она соглашается на компромисс, на частичное взаимопонимание с мужем, не предъявляя ему максималистских требований эмоционального и финансового соучастия в жизни семьи. В описании Лашиной все трое ее мужей хотят сохранения брака при условии собственной свободы, перекладывая финансовые проблемы, ответственность за принятие решений и воспитание детей на плечи жены:

> 11.06.1947. Снова встали мы перед вопросом безденежья и отсутствия продуктов ‹…› И снова Костя уклонился от всякого желания мне помочь. ‹…› Снова я продала в скупочном магазине за бесценок только что полученную материю на платье. Новое, черное, приличное платье. Я так о нем мечтала ‹…› И так мне печально! И хотелось бы пожаловаться, да некому. Если Косте сказать, он с раздражением спросит: «Это что, мне упрек?» [2: 88]

В этой ситуации для того чтобы выжить и сохранить семью, как следует из Дневника, возможны две тактики. Первая — это тактика матриархатного контроля, которую подробно излагает сестра третьего мужа — Вячеслава Лашина:

> 20.02.1954. Зина считает, что жена должна держать мужа в руках, для его же блага ограничивать его во всем, в случае проявления первых

> признаков лжи немедленно установить за ним контроль, проверять каждый его шаг, пресекать всякие его злоупотребления в самом начале, касается ли это вина или женщин. Она утверждала, что во всем, что произошло, виновата я сама, потому что не руководствовалась этими мудрыми правилами, бросила вожжи и пустила события на самотек [2: 283].

Возражение, что «единственные возможные отношения между супругами ‹…›, — это полное и безусловное доверие», Зина парирует словами: «Лишнее доверие к мужу есть проявление эгоизма, потому что надо было думать о нем и об его будущем» [2: 283].

Примеров семей, где есть такая властная, контролирующая жена и мать (при отсутствии мужчины или его безволии, пьянстве и т. п.), немало в Дневнике. Например, потенциальный тесть старшего сына Лашиной, удивляющегося женскому диктату в семье, советует: «Терпи, Сашенька, я всю жизнь терплю» [2: 91].

Тактики скрытого лидерства зачастую использует и сама Лашина, однако в акте письма она подчеркивает свою приверженность другой модели женского поведения, связанной с концептом не «новой», а традиционной, патриархатной семьи: она описывает себя как всепрощающую и жертвующую собой женщину. В этом смысле идеальным образцом для нее является собственная мать, которая была оставлена мужем с тремя маленькими детьми на руках (кроме их общего младшего сына, это был ребенок мужа от другой женщины и племянница), безропотно их растила и самоотверженно принимала участие в воспитании внуков, одновременно до глубокой старости работая в школе:

> 5.04.1932. Все отношения мамы к родным и чужим, и животным, и ко всем явлениям жизни — это любовь. Часто эта любовь остается безответной, но от этого она не пропадает. Как терпеливо и кротко она относится к обоим сыновьям, таким грубым с нею! Как ласково и безотказно ухаживает за внучатами, жертвуя сном и отдыхом ‹…› И при всем этом ни одной мысли о себе, для себя ‹…› она может спать не на кровати, если кровать кому-то понадобится, а на стульях, может не обедать, если не хватило другим. Она никогда не задумывается над своими собственными нуждами, просто отказывая себе во всем, и ничто не вызывает ее недовольства, раздражения. Напротив, во всех случаях она очень довольна [1: 57–58].

Меряя свою жизнь максималистским идеалом жертвенного самоотречения, Лашина ощущает непреходящее чувство вины перед всеми своими домашними, но в первую очередь — перед детьми. Если в ее отношениях с мужчинами две модели жены (старая и новая) конкурируют между собой, то по отношению к детям она последовательно стремится выполнять роль ответственной, жертвующей матери. Дети для нее — безусловная и главная ценность и цель; им, подробному и весьма беспристрастному описанию их характеров и проблем, посвящена бóльшая часть Дневника.

> 8.05.1933. Дети, которым я практически отдаю всю свою жизнь, время, труд, являются для меня неиссякаемым источником радости. Счастье для меня и в страданиях за них, в лишениях, которые я сознательно терплю из-за них [1: 98].

Как обыкновенная советская женщина, Лашина живет в ситуации, когда она принуждена выполнять гендерный контракт «работающей матери», который предполагает совмещение традиционной патриархальной роли женщины в рамках семьи с одновременной занятостью на производстве и в общественной жизни [Темкина, Роткирх 2002; Айвазова 1998]. Причем требования к женщине и как к работнице, и как к гражданке и — особенно — как к матери, ответственной за здоровье и воспитание детей, постоянно возрастают начиная с конца 1930-х годов, когда в установках власти начинается патриархальный ренессанс. Хотя Лашиной много помогает мать, в довоенное время в семье есть няньки и помощницы по хозяйству, младшие дети посещают ясли и детский сад, но двойная нагрузка при максималистских требованиях к собственной материнской роли последовательно описывается ею как непосильная и деконструктивная:

> 5.04.1934. Но во всех моих исканиях только два берега. Одни мой берег — моя семья, мой дом, муж, дети. Другой берег — работа, общественный успех, увлечение собой ‹…› Совместить в себе и настоящего, полноценного работника и хорошую семьянинку я не смогу. Потому что и тому и другому надо принадлежать до конца ‹…› А такого неисчерпаемого количества сил, способностей и времени, чтобы быть сразу всем и для всех, у меня нет [1: 109–110].

> 28.04.1940. Я не хочу работать, я хочу жить с детьми! Чтобы Котик был здоров, чтобы Шурик не был одинок, чтобы малыши высыпались, чтобы и Косте и детям жилось тепло и уютно. Но что же мы будем есть? Жуткая моя жизнь, горькая моя судьба! До слез, до боли жалко детей! [1: 182].

> 2.01.1944 …я чувствую себя такой перед ними (детьми. — *И. С.*) виноватой. Не надо было их иметь! Действительно, что я им дала? Кроме самой жизни, ничего! А так хотелось бы дать им все! И теплый дом, и внимание, и настоящее образование, и показать и мир, и познакомить со всем прекрасным на земле… [1: 317].

> 7.01.1944. Имеющая детей женщина не должна работать где-то в стороне от семьи, если дети ее не устроены как следует. Ее труд должен принадлежать ее детям так же, как принадлежит ее душа. Ее повседневное влияние, любовь, забота должны окружать их ежедневно и ежечасно. Не дело матери сидеть с утра до ночи в стороне от детей и, не зная, не чувствуя их жизни, писать всякие отчеты и сводки, а думать о детях и чувствовать себя несчастной, потому что ты не с ними [1: 320].

Идеал жертвенного материнства, глубоко укорененный в культурной традиции[9], имеет сильные религиозные, христианские коннотации, но в то же время концепция жертвоприношения и самоотречения (во имя будущего, коммунизма и в интересах государства) характерна и для советской идеологии[10]. Для героини целе- и жизнеобразующая идея самопожертвования несомненно является одним из влиятельных образцов жизнеосмысления; жертвенность становится универсальным объяснительным кодом. Собственная жизнь интерпретируется через понятие жертвенности и жертвы.

> 25.12.1945. Для того чтобы жить, надо иметь определенную цель[11]. А теперь? В чем цель? В потребительском отношении к жизни? В воспитании своих детенышей ‹…›? В квартире? В заработке? До чего же пустое!! ‹…› Это все не цель. Нужна жертва! Сильная, поглощающая силы и волю. Такую жертву можно принять как цель[12] [2: 46].

Но одновременно, как можно видеть из приведенных выше цитат, Дневник описывает гигантское, невыносимое напряжение автора в попытках соответствовать идеалу жертвенной матери при необходимости работать — в ситуации, когда мужчины по объективным и субъективным причинам не способны обеспечить семью, а государство принуждает к трудовой деятельности, иногда напоминающей рабский труд:

> 7.01.1944. Вообще установилась какая-то дикая практика. Работай не только день, но и вечер. И в Наркомате во всех комнатах люди продолжают работать до позднего вечера. Женщины, матери нервничают, но если начальство приказало, остаются и работают [1: 318][13].

Постоянное напряжение и неизбывное чувство вины приводят к ситуациям бунта — словом и «телом». Дневник становится местом, где можно выплеснуть, выкричать свои страдание и усталость и нарушить табу (например, подвергнуть сомнению святость и неизбежность материнства):

> 7.06.1937. У меня неприятность и я, в противоречие всем своим прежним настроениям, так пишу. Три месяца беременности! А я не хочу иметь четвертого ребенка. Я так устала! Я так устала ‹…› Я начала уставать и от труда, и от забот, и от тяжелых раздумий, и от всей, всей жизни! [1: 143].

Бунт телом проявляется в депрессиях, нервных срывах, тяжелых нервных болезнях, которые также описываются в Дневнике:

---

[9] Речь идет не только о русской, но и об общеевропейской культурной традиции. См., например: [Weigel 1988b].

[10] Об образе матери в соцреализме см., например: [Рамм-Вебер 2003].

[11] Такой целью для Лашиной была победа и возвращение мужа с войны.

[12] Речь идет о решении усыновить ребенка, оставшегося во время войны сиротой.

[13] Необходимость для служащих наркоматов трудиться до позднего вечера и даже ночью была вызвана тем, что Сталин предпочитал работать по ночам, и все сотрудники ЦК и наркоматов (министерств) должны были находиться в круглосуточной «боевой готовности», чтобы ответить на любой его запрос.

> 10.02.1945. На почве неврастении и истощения я почти потеряла зрение. Не могла ни писать, ни читать, ни шить [1: 343].

> 3.12.1952. Всю ночь я продолжала плакать. Слезы, продолжавшиеся больше 30-ти часов, уносят душу, и это так и было [2: 211].

Материнская жертвенность, выбранная как желаемая модель самоосуществления и представленная в Дневнике через фаталистический концепт женской судьбы, не подвергается ревизии, но акцент часто сдвигается с героического на страдательный, на ощущение себя не жертвующей, а жертвой:

> 12.01.1951. Вся моя жизнь упирается в интересы детей. И так из года в год. И не было случая, чтобы я отказала кому-нибудь из них в реальной помощи ‹…› Отнять у себя, и отдать им, и сделать вид, что мне-то как раз не надо. Работать всю жизнь и приносить домой весь заработок все для того же и для того же. Накормить, одеть, купить им и снова им. И душевная жизнь моя. Вечная тревога ‹…› и забота. Конечно, у меня нет сил купить, например, пианино или предоставить им по комнате. Откуда им взяться, если с 41-го года фактически одна я несу все заботы. Костя, что ли, делит эти заботы со мной? У него какие-то иные заботы, скользящие мимо меня, семьи, детей [2: 151].

Самоосуществление через детей и самоотверженное материнство парадоксальным образом соединяются с мыслью о потере себя, об отсутствии собственного пространства душевной жизни, о самонеосуществлении. И в этом случае символическая идея отсутствия пространства женской самореализации в патриархатном социуме[14] воплощается в дискурсе повседневности, органически закольцовываясь в Дневнике Лашиной с пресловутым «квартирным вопросом». Описанию коммунального советского быта (см.: [Бойм 2002; Утехин 2001]) посвящено много страниц Дневника:

> 1.04.1932. Теперь в двух комнатах живут 11 человек, плюс мокрые пеленки и детский крик с утра до вечера [1: 56].

> 26.09.1944. Повернуться невозможно. Чтобы выйти из комнаты, нужно всех потревожить. Кто-то должен подвинуться, кто-то встать со стула [1: 341].

> 23.08.1958. [О работе в отделе писем «Крокодила] В основном же люди просят о том, о чем просить бы и не следовало, о том, что каждый человек иметь должен уж в силу одного того, что он живет. О жилье. Живут люди по 5, по 7 человек в одной комнате [2: 348].

> 11.10.1958. Но представив себе, что в одной нашей комнате, где живет совсем старенькая мама, 23-летняя девушка и 18-летний парень, где ни у кого нет собственного уголка, где спят они все вокруг одного

[14] Об этом не раз писала феминистская критика начиная с вышедшего в 1928 г. знаменитого эссе Вирджинии Вульф «Своя комната» («A room of one's own»).

> стола, представив, что здесь будет жить еще неизвестная нам женщина с грудным ребенком, что все это ляжет на неопределенный срок на мои плечи, я стала думать и думать [2: 362].

«Принудительная социальность» [Левада 2001: 11] советского быта, отсутствие частного пространства у автора Дневника, как и у всех остальных членов семьи, не только делает невозможной интимную супружескую жизнь, но выхолащивает само содержание понятия семьи: внутри этого коллективизированного быта невозможно быть дочерью, матерью, женой в том смысле, который представляется Лашиной правильным и естественным:

> 21.02.1945. А меня утомила наша жизнь, коксовая пыль, жаркая печурка и бесконечное скопление людей у маленького стола. Так хочется побыть одной в комнате хоть час в день. Посидеть за столом молча, ни с кем не разговаривая, выпить стакан горячего чая и в этой же тишине лечь спать в чистую, свежую постель и проснуться без напряжения, без спешки [1: 347].

> 22.03.1945. Недавно я шла с работы и поняла, что самое любимое время для меня это тогда, когда я иду домой с работы, потому что эти 40 минут я нахожусь одна. Я думаю о своем ‹…› Быть всегда обязанной находиться с людьми, в Наркомате с чужими, дома со своими! Всегда, всегда днем и ночью, видеть перед собою другие лица, подчиняться их настроению, слушать их разговоры, сглаживать всякие вспышки [1: 359].

> 29.09.1945. Я люблю его (мужа, Костю. — *И. С.*) не только женской любовью, но и материнской ‹…› Нам с ним обоим тяжело живется. Мы никогда не бываем вдвоем. Поговорить нам друг с другом не представляется возможным. Мои и его желания сразу получают отзывы, оценки, вопросы других людей. ‹…› Я страдаю. В нынешней обстановке наша любовь и дружба обречены на чахлое и жалкое существование. Я даже не могу по-настоящему рассмотреть, каким он стал после войны [2: 23–24].

Чтобы в таких обстоятельствах просто жить, «обывать», быть обыкновенной, нормальной женщиной, существовать в тех материальных и духовных условиях, которые «каждый человек иметь должен уж в силу одного того, что он живет», нужно совершать какие-то героические усилия самопожертвования, иногда непосильные. Идея героического и агиографическая модель биографического нарратива используются в Дневнике Лашиной не для описания ситуации «жизнь за царя» (за родину, за коммунизм) или религиозного духовного подвига; в этой парадигме описывается обыкновенное женское существование в непрерывных усилиях по обузданию хаоса, энтропии повседневной, бытовой жизни.

Практика ведения дневника тоже становится одним из таких усилий. Очевидно, что Дневник Лашиной, как и другие женские дневники (см.: [Савкина 2007: 95–190]), выполняет функцию виртуальной «своей комнаты», что Дневник для нее, как для многих женщин, — практика не самоописания, а самопи-

сания, самоструктурирования, возможности быть одной и «думать о своем». Эта функция Дневника сохраняется на всем протяжении его ведения[15], хотя, конечно, структура Дневника не гомогенна — в разном возрасте, в разных жизненных обстоятельствах он осмысляется по-разному: в тысячестраничном тексте можно найти и свидетельство, и мемории, и истерику, и молитву, и очерки нравов. Безусловно и то, что модели «обыкновенного человека» и «жертвенной матери», о которых шла речь в этой статье, не являются единственными и неизменными для автора. Можно найти немало моментов, где автор Дневника выступает с позиции «исторического персонажа», сознательно, аналитически участвующего «в изобретении истории».

Позиция жертвенности тоже имеет свои трещины: Лашина совершает (и описывает) нарциссические поступки (изменяет первому мужу, флиртует с коллегами, оставляет детей бабушке, уходит с работы, чтобы заняться творчеством). Можно было бы обратить внимание и на то, что паттерны жертвенной жены и матери и властного, контролирующего матриарха в реальности не являются взаимоисключающими, и в тексте Дневника мы можем встретить описание ситуаций, когда жертвенность оборачивается контролем, излишней опекой, желанием принимать решения за детей и манипулировать их жизнью, провоцирует эгоизм и иждивенчество[16]. Лашина сама об этом много размышляет на последних страницах Дневника в записях о неудачной и трагической судьбе любимого сына Кости, об отчуждении других сыновей. Интересно, что публикаторы обрывают текст Дневника на очень символическом эпизоде: после гибели сына Лашина удочеряет его дочь и получает новое свидетельство о рождении девочки. «В новой метрике было написано: “Мать — Лашина Нина Сергеевна, отец — Покровский Константин Константинович”» [2: 486], т. е. роли жертвенной матери и жены соединяются в каком-то символическом неестественном, «инцестном» акте.

«Движение жизни…»

Огромный, многостраничный Дневник Нины Сергеевны Лашиной оставляет много возможностей для других исследовательских подходов, но в этой статье я стремилась сосредоточиться на выявлении того, что, на мой взгляд, является лейтмотивным, к чему автор постоянно возвращается, что обнаруживается в структурирующих повествование стратегиях самоидентификации, в сознательных и бессознательных повторах, в рефлексии над собственной позицией.

Автор Дневника, как мы могли видеть, имела писательские амбиции и верила, что, написав свои романы и повести, «создала живую, неуничтожимую летопись наших горьких и трудных дней ‹…› И убеждена, что придет день, когда они будут изданы и оценены» [2: 408]. Эти надежды не сбылись.

[15] Последняя запись в Дневнике датирована 5 июля 1966 г., но по информации публикаторов Лашина вела Дневник и позже — хотя не так регулярно (электронное письмо автору статьи от Александры Колымагиной от 4 апреля 2015 г.).

[16] Рефлексию этой оборотной стороны материнской жертвенности можно ясно видеть в российской женской прозе конца XX в. — в текстах Людмилы Петрушевской, Татьяны Толстой, Марины Вишневецкой и др.

Но публикация ее Дневника позволила услышать это «послание» обычной женщины, чья «обыкновенность» оказалась захватывающе интересной.

15 марта 1941 г. Нина Сергеевна Лашина записала в Дневнике:

> И я прошу тебя, мой далекий, добрый друг, в чьи руки попадут мои записки, не изгоняй из них движения жизни, не заглушай биения моего сердца в погоне за какой-то своей, мне не известной целью [1: 200].

Очень хотелось бы надеяться, что эта просьба хоть частично выполнена в данной статье.

Литература

Айвазова 1998 — *Айвазова С. Г.* Русские женщины в лабиринте равноправия (Очерки политической теории и истории). М.: РИК Русанова, 1998.

Белова 2013 — *Белова А. В.* Женская повседневность как предмет истории повседневности: историографический и методологический аспекты // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений / Отв. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. М.: Нов. лит. обозрение, 2013. С. 25–67.

Бойм 2002 — *Бойм С.* Общие места: Мифология повседневной жизни. М.: Нов. лит. обозрение, 2002.

Волков 1997 — *Волков В. В.* О концепции практик(и) в социальных науках // Социологические исследования. 1997. № 6. С. 9–23.

Градскова 1999 — *Градскова Ю.* «Обычная» советская женщина — обзор описаний идентичности. М.: Sputnik, 1999.

Кларк 2002 — *Кларк К.* Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.

Козлова 1996 — *Козлова Н. Н.* Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М.: ИФ РАН, 1996.

Козлова 2005 — *Козлова Н. Н.* Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.

Королев 2013 — *Королев С. А.* Повседневность как эманация социальности: трансформации и тренды // Философская мысль. 2013. № 8. Цит. по электрон. версии. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_709.html.

Лашина 2011 — *Лашина Н. С.* Дневник русской женщины: В 2 т. Т. 1: 1929–1945 гг. Т. 2: 1946–1967 гг. М.: КПЦ «Преображение», 2011.

Лебина 2015 — *Лебина Н.* Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М.: Нов. лит. обозрение, 2015.

Левада 1993 — Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х / Отв. ред. Ю. А. Левада. М.: Мировой океан, 1993.

Левада 2001 — *Левада Ю.* «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 10–12.

Паперно 2004 — *Паперно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. № 68. 2004. С. 102–127.

Покровская 2013 — *Покровская Н. С.* Так начиналась жизнь: воспоминания внучки директора Демидовского юридического лицея. Ярославль: ЯрГУ, 2013.

Рамм-Вебер 2003 — *Рамм-Вебер С.* Искусство сталинской эпохи: материнский архетип и соцреализм // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования / Под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. М.: РГГУ, 2003. С. 267–286.

Савкина 2007 — *Савкина И. Л.* Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М.: Нов. лит. обозрение, 2007.

Серто де 2013 — *Серто де М.* Изобретение повседневности. 1: Искусство делать. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.

Темкина, Роткирх 2002 — *Темкина А. А., Роткирх А.* Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России // Социологические исследования. 2002. № 11. С. 4–15.

Утехин 2001 — *Утехин И. В.* Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2001.

Фицпатрик 2008 — *Фитцпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. М: РОССПЭН, 2008.

Хелльбек 2010 — *Хелльбек Й.* Повседневная идеология: жизнь при сталинизме // Неприкосновенный запас. 2010. № 4 (72). Цит. по электрон. версии. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/4/he2.html.

Хелльбек 2012 — *Хелльбек Й.* Жизнь, прочтенная заново: самосознание русского интеллигента в революционную эпоху (1900–1933) // Новое литературное обозрение. № 116. 2012. С. 374–384.

Bruner 2004 — *Bruner J.* Life as narrative // Social Research. Vol. 71. No 3. 2004. P. 691–710.

Chamberlain, Thompson 1998 — *Chamberlain M., Thompson P.* Introduction: Genre and narrative in life stories // Narrative and Genre / Ed. by M. Chamberlain, P. Thompson. London; New York: Routledge, 1998. P. 1–22.

Hellbeck 2009 — *Hellbeck J.* Revolution on my mind. Writing a diary under Stalin. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 2009.

Gradskova 2007 — *Gradskova Yu.* Soviet people with female bodies. Performing beauty and maternity in Soviet Russia in the mid 1930–1960s. Stockholm: Stockholm University: Almqvist & Wiksell International, 2007.

Paperno 2009 — *Paperno I.* Stories of the Soviet experience. Memoirs, diaries, dreams. Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 2009.

Ransel 2015 — *Ransel D. L.* The scholarship of everyday life // Everyday life in Russia past and present / Ed. by C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, K. Petroine. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2015. P. 17–34.

Skomp 2015 — *Skomp E.* The literature of everyday life and popular representations of motherhood in Brezhnev's time // Everyday life in Russia past and present / Ed. by C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, K. Petroine. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2015. P. 118–139.

Weigel 1988a — *Weigel S.* Der schielende Blick: Thesen zur Geschichte weiblicher Schreibpraxis // Die verborgene Frau: Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft. / Hrsg. I. Stephan, S. Weigel. Berlin: Argument-Sonderband AS, 1988. S. 83–137.

Weigel 1988b — *Weigel S.* Die geopferte Heldin und das Opfer als Heldin: Zum Entwurf weiblicher Helden in der Literatur von Mannern und Frauen // Die verborgene Frau: Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft / Hrsg. I. tephan, S. Weigel. Berlin: Argument-Sonderband AS, 1988. S. 138–152.

"My simple notes": Patterns of self-identity in the diary of Nina Lashina

Savkina, Irina L.
PhD
University Lecturer, School of Language, Translation and Literary Studies, University of Tampere (Finland)
333014, Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Tampere, Finland
Tel.: +358442548988
E-mail: irina.savkina@staff.uta.fi

Abstract. This article analyses the diary of Nina Lashina (1906–1990), which was published in 2011. This work could be termed a diary of "everyday life" or a "diary of an ordinary woman". When analyzing this text, the author presupposes that a diary narrative is a space where an ongoing process of self-identification is taking place. However, this narrative always involves leitmotif models and biographical schemes that are essential for the author of the diary, and self-description and self-representation are carried out within this framework. The article demonstrates that the key concepts in Lashina's diary are those of "ordinary life" and "women's everyday life", and a central legitimizing metanarrative is the history of a mother's self-sacrifice.

We interpret deliberate marginalizing of one's own Self through the concept of "ordinariness" as one of the tactics of "wandering out", according Michel de Certeau's terminology. These tactics manage to redefine the institutional efforts implemented by the Power. At the same time, Lashina's diary demonstrates her deep dependence on dominant notions of the woman's role — self-sacrificing mother and responsible wife, one who constantly controls the life of her husband and family. Such matriarchal practices are depicted by the author of the diary as inevitable and necessary for survival. On the other hand, the idea of "heroic life" and the hagiographical model of biographical narrative are used in this text not to describe civic virtues or or a religious spiritual exploit, but rather to represent the everyday female existence engaged in ceaseless efforts to overcome chaos, the entropy of everyday life.

Keywords: diary, women's writing, diary narrative, identity, ordinariness, history of everyday life, gender relations, Soviet subject

References

Aivazova, S. G. (1998). *Russkie zhenshchiny v labirinte ravnopraviia* [Russian women in the labyrinth of equality]. Moscow: RIK Rusanova. (In Russian).

Belova, A. V. (2013). Zhenskaia povsednevnost' kak predmet istorii povsednevnosti: istoriograficheskii i metodologicheskii aspekty [Female everyday life as a subject of history of everyday life: Historiographic and methodological aspects]. In N. L. Pushkareva (Ed.). *Rossiiskaia povsednevnost' v zerkale gendernykh otnoshenii* [Russian everyday life in the mirror of gender relations], 25–67. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Boim, S. (2002). *Obshchie mesta: Mifologiia povsednevnoi zhizni* [Transl. and enl. from Boym, S. (1994). *Common places. Mythologies of everyday life in Russia*. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Bruner, J. (1998). Life as narrative. *Social Research, 71*(3), 691–710.

Chamberlain, M., Thompson, P. (1998). Introduction: Genre and narrative. In M. Chamberlain, P. Thompson (Eds.). *Narrative and genre*, 1–22. London; New York: Routledge.

Fitspatrik, Sh. (2008). *Povsednevnyi stalinizm* [Transl. from Fitzpatrick, Sh. (1999). *Everyday Stalinism: Ordinary life in extraordinary times: Soviet Russia in the 1930s*. Oxford: Oxford Univ. Press]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian).

Gradskova, Yu. (1999). *"Obychnaia" sovetskaia zhenshhina — obzor opisanii identichnosti.* [An "ordinary" Soviet woman — a review of descriptions of identity]. Moscow: Sputnik. (In Russian).

Gradskova, Yu. (2007). *Soviet people with female bodies. Performing beauty and maternity in Soviet Russia in the mid 1930–1960s.* Stockholm: Stockholm University: Almqvist & Wiksell International.

Hellbeck, J. (2009). *Revolution on my mind. Writing a diary under Stalin.* Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press.

Khell'bek, I. [Hellbeck, J.] (2010). Povsednevnaia ideologiia: zhizn' pri stalinizme [Everyday ideology: Life during Stalinism]. *Neprikosnovennyi zapas* [NZ: Debates on Politics and Culture]*, 2010*(4) (=72). Retrieved from http://magazines.russ.ru/nz/2010/4/he2.html. (In Russian).

Khell'bek, I. [Hellbeck, J.] (2012). Zhizn', prochtennaia zanovo: samosoznanie russkogo intelligenta v revoliutsionnuiu epokhu (1900–1933) [Life, read again: self-consciousness of the Russian intelligentsia in a revolutionary period (1900–1933)]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New literary observer]*, 2012*(4) (= no.116), 374–384. (In Russian).

Klark, K. (2002). *Sovetskii roman: istoriia kak ritual* [Transl. from: Clark, K. (1981). *The Soviet novel: History as ritual*. Chicago: Univ. of Chicago Press]. Yekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta. (In Russian).

Korolev, S. A.(2013). Povsednevnost' kak emanatsiia sotsial'nosti: transformatsii i trendy [Everyday life as an emanation of sociality: transformations and trends]. *Filosofskaia mysl'* [Philosophical thought]*, 2013*(8). Retrieved from http://e-notabene.ru/fr/article_709.html. (In Russian).

Kozlova, N. N. (2005). *Sovetskie liudi. Stseny iz istorii* [Soviet people: Scenes from history]. Moscow: Evropa. (In Russian).

Kozlova, N. N. (1996). *Gorizonty povsednevnosti sovetskoi epokhi: Golosa iz khora* [The horizons of everyday life in the Soviet era: Voices from the choir]. Moscow: IF RAN. (In Russian).

Lashina, N. S. (2011). *Dnevnik russkoi zhenshchiny* [Diary of a Russian woman]. Vol. 1 (1929–1945), Vol. 2 (1946–1967). Moscow: KPI "Preobrazhenie". (In Russian).

Lebina, N. B. (2015). *Sovetskaia povsednevnost': normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k bol'shomu stiliu.* [Soviet everyday life: Norms and anomalies. From War Communism to the Grand Style]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Levada, Iu. (2001). "Chelovek sovetskii": problema rekonstruktsii iskhodnykh form ["Homo Sovieticus": The problem of reconstructing the initial forms]. *Monitoring obshchestvennogo mneniia, 2001*(2), 7–16. (In Russian).

Levada, Iu. A. (1993) (Ed.). *Sovetskii prostoi chelovek: Opyt sotsial'nogo portreta na rubezhe 90-kh* [Ordinary Soviet person: An attempt at a social portrait at the turn of the 1990s]. Moscow: Mirovoi okean. (In Russian).

Paperno, I. (2004). Sovetskii opyt, avtobiograficheskoe pis'mo i istoricheskoe soznanie: Ginzburg, Gertsen, Gegel' [Soviet experience, autobiographical writing and historical consciousness: Ginzburg, Herzen, Hegel]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New literary observer]*, 68*, 102–127. (In Russian).

Paperno, I. (2009). *Stories of the Soviet experience. Memoirs, diaries, dreams*. Ithaca; London: Cornell Univ. Press.

Pokrovskaia, N. S. (2013). *Tak nachinalas' zhizn': vospominaniia vnuchki direktora Demidovskogo iuridicheskogo litseia* [Thus life began: Memoirs of the granddaughter of the director of the Demidov Juridical Lyceum]. Yaroslavl: IarGU. (In Russian).

Ramm-Veber, S. (2003). Iskusstvo stalinskoi epokhi: materinskii arkhetip i sotsrealizm [The art of the Stalinist era: The mother archetype and socialist realism]. In E. Cheauré, C. Heyder (Eds.). *Pol. Gender. Kul'tura. Nemetskie i russkie issledovaniia* (Sex. Gender. Culture. German and Russian studies), 267–286. Moscow: RGGU. (In Russian).

Ransel, D. L. (2015). The scholarship of everyday life. In C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, K. Petroine (Eds.). *Everyday life in Russia Past and Present*, 17–34. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Savkina, I. L. (2007). *Razgovory s zerkalom i Zazerkal'em: Avtodokumental'nye zhenskie teksty v russkoi literature pervoi poloviny XIX veka* [Conversations with the mirror and the world behind it: Autobiographical women's texts in Russian literature in the first half of the 19th century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Serto, M. de. (2013). *Izobretenie povsednevnosti. 1. Iskusstvo delat'* [Invention of the everyday life. Part 1. Art of doing] (Transl. from de Certeau, M. (1990). *L'invention du quotidien*. I. *Arts de faire*. Paris: Gallimard). St. Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge. (In Russian).

Skomp, E. (2015). The literature of everyday life and popular representations of motherhood in Brezhnev's time. In C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, K. Petroine (Eds.). *Everyday life in Russia past and present*, 118–139. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Temkina, A. A., Rotkirkh, A. [Rotkirch, A] (2002). Sovetskie gendernye kontrakty i ikh transformatsiia v sovremennoi Rossii [Soviet gender contracts and their transformation in modern Russia]. *Sotsiologicheskie issledovaniia, 2002*(11), 4–15. (In Russian).

Utekhin, I. V. (2001). *Ocherki kommunal'nogo byta* [Essays on communal everyday life]. Moscow: OGI. (In Russian).

Volkov, V. V. (1997). O kontseptsii praktik(i) v sotsial'nykh naukakh [On the conception of practice[s] in the social sciences]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* [Sociological studies]*, 1997*(6), 9–23. (In Russian).

Weigel, S. (1988a). Der schielende Blick: Thesen zur Geschichte weiblicher Schreibpraxis. In I. Stephan, S. Weigel (Eds.). *Die verborgene Frau: Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft*, 83–137. Berlin: Argument-Sonderband AS. (In German).

Weigel, S. (1988b). Die geopferte Heldin und das Opfer als Heldin: Zum Entwurf weiblicher Helden in der Literatur von Mannern und Frauen. In I. Stephan, S. Weigel (Eds.). *Die verborgene Frau: Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft*, 138–152. Berlin: Argument-Sonderband AS. (In German).

Savkina, I. L. (2017). "My simple notes": Patterns of self-identity in the diary of Nina Lashina. *Shagi / Steps, 3*(1), 136–157